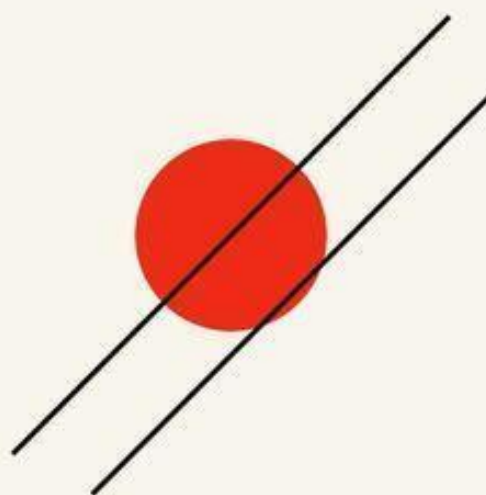


18+
Гастон Д'Арси

ОШИБКОРЕЗКАЯ НЕВЫНОСИМАЯ ПЕЧАТЬ



Гастон Д'Арси

**Ошибкорезкая
невыносимая печать**

«Издательские решения»

Д'Арси Г.

Ошибкорезкая невыносимая печать / Г. Д'Арси — «Издательские решения»,

Шесть минисказов, в которых ошибка перестаёт быть промахом и обнаруживает собственную логику. Память спорит с историей, язык меняет того, кто на нём говорит, свобода оказывается неудобнее любого порядка, а плюшевые гиганты вступают в настоящую битву. Ироничная проза о том, как человек пытается исправить мир — и замечает, что мир уже исправляет его. Книга содержит нецензурную брань.

© Д'Арси Г.

© Издательские решения

Содержание

ГАСТОН Д'АРСИ	6
СОДЕРЖАНИЕ	7
I. ОШИБКА	7
II. ПАМЯТЬ	8
III. СВОБОДА	9
ЧАСТЬ I	10
О плодотворном недослышании	15
Пролог. Таможня	20
II. Истина и справка об истине	21
III. Четыре печати	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Ошибкорезкая невыносимая печать

Гастон Д'Арси

© Гастон Д'Арси, 2026

ISBN 978-5-0071-1291-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГАСТОН Д'АРСИ

ОШИБКОРЕЗКАЯ НЕВЫНОСИМАЯ ПЕЧАТЬ

*Минисказы, трактаты и плутовская повесть
об ошибке, памяти и свободе*

MMXXVI

© Gaston d'Arcy, 2026

Все права защищены

DARCYON · Toulouse

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОШИБКА

1. Анилин 2
2. Есть ошибки, которые ниже истины 5
3. Гадкий утёнок любого языка 7
4. Шизгару давай! 9
5. А гром где-то рядом громко гремя, громит... 13
6. Аристотель приехал в Копенгаген 16

II. ПАМЯТЬ

- 7. Фотоны истории: о пламени и бумажных цепях 37
- 8. Власть архива или архив власти 39
- 9. Грёзы о былом 43
- 10. Законы глупости Чиполлы 45
- 11. Битва плюшевых гигантов 49

III. СВОБОДА

- 12. Сон в майскую ночь на улице Быка в Тулузе 52
- 13. Не конец, но и не венец 56
- 14. Утром, после прогулки с моим анархистом 58
- 15. Песок вместо овса 61
- 16. Я — как Япончик 66
- 17. Берега и рамсы 86

ЧАСТЬ I

ОШИБКА

Анилин

Он посмотрел на меня несколько ошарашенно и как-то тихо выдавил:

— Я не знаю, Олег Игоревич, какую оценку я вам могу поставить...

...

В Москву мы приехали из Актюбинска в 1967 году — в год пятидесятилетия советской власти. Мама, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней местного медицинского института, каким-то чудом получила место участкового врача в районной поликлинике в Мнёвниках.

Мне было девять лет. Я пошёл в четвёртый класс и был круглым отличником. Я уже читал по-английски и делал вид, что говорю: знал слова, строил фразы, и этого хватало.

Меня брали в английскую спецшколу — ту самую, рядом с особняком Берии, где сейчас находится посольство Туниса. Но туда нужно было к половине девятого, а отец шёл на работу к десяти. Одного меня не отпускали.

И я остался в обычной школе.

Зато случайно попал во французскую. Отец увидел объявление: экспериментальный набор сразу в несколько классов. Меня туда и отдали. Это была дверь.

Я иногда думаю, что было бы, если бы тогда выбрали английскую. Другой язык, другие люди, другая среда. Другая жизнь. Но тогда это казалось мелочью.

В шестом классе мы писали сочинение «Кем я хочу стать».

Три четверти класса происходили из простых семей. Никаких научных амбиций. Один стал мультимиллионером. Кто-то спился. Я говорю это без презрения — просто факт.

Я тогда хотел быть физиком.

Тогда всё было просто: эпоха физиков и лириков. Я точно не был лириком — значит, физик.

Моей настольной книгой была брошюра «Охотники за частицами». Я читал её взахлёб, знал, как открывали электрон, нейтрон, протон.

Сочинение заканчивалось: «Кто кем, а я хочу стать физиком». Учительница зачитала его как образец.

В восьмом классе она же поставила мне двойку за Базарова. Я отказался писать о нём как о революционере.

Я с детства не любил нигилистов. Базарова я тоже не любил.

Седьмой класс прошёл под знаком физики.

А в восьмом появилась химия. И Римма Петровна Суровцева. Она заставила меня в этот предмет влюбиться.

Я мгновенно прошёл весь школьный курс, поступил в Школу юного химика при МГУ, занимал призовые места на олимпиадах, включая Всесоюзную. И по какой-то причине не пошёл в университет.

Я поступил в Московский институт тонкой химической технологии.

К концу первого курса стало ясно: что-то не то. На втором — очевидно. На третьем, когда начался сопромат и химия перестала пахнуть, сомнений уже не осталось.

Это была ошибка.

И если я её сейчас не исправлю — заплачу слишком дорого. Я решил стать врачом.

Хотя вокруг меня и так были одни врачи: родители, родственники, друзья семьи. И только я был выбившимся элементом.

Я решил это исправить.

За флакон «Climat» мне выдали аттестат, который лежал в деканате. Я никому ничего не сказал.

Учился на третьем курсе МИТХТ и параллельно готовился к поступлению в Первый мед. Почему — в Первый? А в какой же ещё?

Весь год зубрил биологию. Никто не знал.

Первого сентября родители были уверены, что я иду на четвёртый курс.

— Ты куда?

— На Моховую.

— У вас там что, кафедра?

— Да.

— Какая?

— Нормальная анатомия.

Брови у них поднялись во весь рост.

Вступительные экзамены были в августе 1977 года. Четыре экзамена: биология, сочинение, физика и последней — химия.

Самым жёстким был первый — биология. Там отсекали треть абитуриентов. Сочинением добивали остальных. До физики доходили уже те, кто почти прошёл. А химия была формальностью: сдать — и всё.

Я сдал биологию на пять. Год готовился. Сочинение — на четыре. Этого было достаточно. Физику — на пять.

Я уже знал, что поступил. И вот осталась химия.

Я был расслаблен. И он был расслаблен.

Он смотрел в ведомость: две пятёрки и четвёрка. Он понимал, что я прохожу. Но у него была установка — уменьшать количество повышенных стипендий. Шесть рублей.

Я ответил.

Он посмотрел на меня и сказал:

— Вы ответили хорошо, но не отлично. Вы всё равно поступаете. Я ставлю вам «хорошо».

— Нет, — сказал я. — Я хотел бы дополнительный вопрос.

Он посмотрел на меня с тем самым прищуром: «Ну, сейчас ты получишь».

— Расскажите-ка мне, пожалуйста, о реакции анилина с азотной кислотой.

Он ждал школьного ответа.

Но я-то уже не был школьником. И он этого не знал.

Я спокойно написал сначала самое простое: при действии разбавленной азотной кислоты — образование соли, нитрата фениламмония. Кислотно-основное взаимодействие.

Он молчал.

Я продолжил:

— Но есть и другой случай. При высокой концентрации кислоты происходит уже не нитрование, а окисление. Разрушение бензольного кольца. Образование смолистых веществ, так называемого чёрного анилина. В ряде случаев — вплоть до воспламенения.

Он приподнял глаза. Я не остановился.

— Однако, если целью является получение орто- или пара-нитроанилина, аминогруппу необходимо предварительно защитить — ацилированием. Иначе в сильноокислой среде она протонируется и меняет направляющее влияние. Нитрование следует вести в смеси концентрированных азотной и серной кислот с учётом этого эффекта.

Это была немая сцена.

Он попросил уточнить пару терминов. Переписать чётче формулу. Потом взял мой листок и вышел — кому-то показывать.

Вернулся.

Посмотрел на меня.

И сказал тихо:

— Я не знаю, Олег Игоревич, какую оценку я вам могу поставить...

Пауза.

— Пять с плюсом.

Уже через несколько недель я узнал, что экзамен у меня принимал заведующий кафедрой органической химии Колесник.

Выдающийся преподаватель, выдающийся химик и просто великолепный человек. Точка.

Есть ошибки, которые ниже истины

Есть ошибки, которые ниже истины.

И есть ошибки, которые не выше её, но иногда плодотворнее мёртвой правоты.

Они ложны по содержанию, но могут оказаться верны по направлению поиска. Связать Гильгаль и Gilgamesh — как раз такая ошибка.

Разум любит происхождения. Ему мало соседства звуков; он жаждет родства. Если два древних слова касаются друг друга слогами, возникает почти физический соблазн поверить, что между ними течёт скрытая кровь. Гильгаль — колесо, круг, каменное кольцо, вращение. Gilgamesh — царь, герой, тот, кто пошёл искать бессмертия и вернулся с пустыми руками, но с рассказом. Наука сухо разводит их по разным комнатам истории языка. Одно — семитский корень круга, другое — шумерское имя иной природы. Дело закрыто.

Но мышление не любит закрытых дел.

Оно слышит в повторе gil-ga не случайность, а зов формы. Оно хочет, чтобы колесо и герой были связаны. Чтобы тот, кто искал вечную жизнь, уже нёс её знак в своём имени. Чтобы круг возвращения заранее был вписан в фигуру странника. Чтобы вся эпопея оказалась спрятанной в фонетике.

И здесь начинается опасность.

Тот же импульс, который ищет скрытую связь между словами, рождает и филолога, и астролога. Он же питает нумеролога, любителя тайных кодов, охотника за совпадениями, человека, которому всё со всем подмигивает. В предельной форме он производит конспиролога: фигуру, для которой случайность отменена, а мир превращён в сплошной заговор знаков.

Поэтому ошибка не заслуживает уважения только потому, что она красива. Эстетика заблуждения ничего не доказывает. Красивыми бывают и ловушки.

Что же тогда отличает плодотворную ошибку от пустой?

Не сила воображения. Не уверенность. Не торжественный тон. И даже не первоначальная догадка. Отличает одно: готовность пережить проверку. Способность уступить факту, принять опровержение, отказаться от любимой симметрии, если архив молчит, а метод не выдерживает давления.

Без этого ошибка остаётся суеверием. С этим она может стать ступенью знания.

Многие великие движения мысли начинались с неточной картины мира. Гармония сфер была ложной как физика, но дисциплинировала слух разума. Алхимия заблуждалась о веществах, но приучала работать с материей. Ранние карты были полны чудовищ, но вели корабли дальше берега. Ошибка здесь ценна не как содержание, а как временный мост, который затем можно разобрать.

Так и в случае Гильгала и Gilgamesh. Вероятно, между ними нет родства, которое хотелось бы найти. Но само желание такого родства показывает тайную потребность ума: мир дол-

жен быть связан глубже, чем кажется. Звуки должны помнить больше, чем знают словари. Имена должны быть умнее своих носителей.

Часто это не так. И всё же без этой тяги культура была бы беднее.

.

Человек — существо, которое плохо переносит бессмысленное соседство.

Он превращает созвучие в гипотезу, совпадение — в вопрос, эхо — в возможную генеалогию.

Иногда из этого рождается мусор.

Иногда поэзия.

Иногда наука — если вовремя приходит трезвость.

.

Мы обязаны связывать, чтобы мыслить.

Мы обязаны разрывать связи, чтобы не сойти с ума.

Никто заранее не знает, какой из двух жестов сегодня честнее.

Гадкий утёнок любого языка

Лебедуля появилась не сразу.

Сначала возникла ошибка слуха.

Кто-то однажды услышал не *libellula*, а «лебедуля», и язык сделал то, что делает всегда: предпочёл неверное, если оно красивее правильного.

Так стрекоза стала лебедем.

Вернее — ещё не лебедем.

Гадким утёнком слова.

.

Потому что язык вообще живёт не логикой, а метаморфозой.

Он непрерывно пытается узнать одно существо внутри другого.

Поэтому Лукоморье кажется связанным с луком, хотя это всего лишь изгиб берега.

Поэтому в излучине чудится излучение.

Поэтому лучезарность кажется почти живым существом — словно заря умеет испускать лучи сознательно.

Язык не любит пустых совпадений.

Он превращает их в судьбу.

.

И потому стрекоза становится драконом.

Dragonfly.

А дракон по-гречески — δρᾱκων — это прежде всего тот, кто смотрит. Существовзгляд.

И ведь стрекоза действительно почти целиком состоит из глаз.

.

Тогда Лебедуля начинает проступать.

Сначала как ошибка.

Потом как насекомое.

Потом как птица.

Слово проходит собственную метаморфозу.

Как гадкий утёнок.

.

Возможно, именно поэтому в нём слышится не только «лебедь», но и что-то текучее, речное:

речь,

изречение,

река.

Потому что слова текут не хуже воды.

Даже «сиречь» когда-то было не словом, а маленьким течением фразы:

«сие речь».

.

И вот уже Лебедуля летит над Лукоморьем — не над местом, а над огромной ошибкой памяти, ставшей реальностью.

Над излучиной реки, похожей на строку рукописи.

Над лучезарной зарёй, где свет ещё не отделился от смысла.

И где-то внизу лопухий ребёнок показывает на стрекозу и говорит:

— Смотри... лебедюля.

И язык, вместо того чтобы поправить его, вдруг начинает верить сам.

Шизгару давай!

О плодотворном недослышании

Жил-был на свете человек, обладавший удивительной способностью понимать любой иностранный язык. Особенно английский.

При этом он не знал не только английского языка — очень часто он не знал даже латинского алфавита.

Звали его просто — *homo sovieticus*.

Он не понимал английскую речь.

Он её приручал.

She's got it превращалось в «шизгару».

И это, как ни странно, одно из самых точных наблюдений над устройством человеческого сознания.

Потому что советский человек вовсе не коверкал английский.

Он делал то же самое, что человеческий мозг делает непрерывно.

Он превращал неизвестное в известное.

Чужое — в своё.

Шум — в смысл.

Мы привыкли думать, что сначала слышим мир, а потом его понимаем.

В действительности всё происходит наоборот.

Сначала мозг выдвигает наиболее вероятную гипотезу происходящего.

И только потом убеждает нас, что именно это мы слышали.

Мы вообще никогда не имеем дела с оригиналом.

Мы имеем дело только с собственной реконструкцией оригинала.

Именно поэтому «шизгара» значительно интереснее, чем *She's got it*.

Английская фраза принадлежит истории рок-музыки.

«Шизгара» принадлежит истории человеческого сознания.

.

И что особенно любопытно — «шизгара» никогда не жила в словарях.

Она жила во дворах.

На кухнях.

На пляжах.

Возле катушечного «Маяка».

Возле магнитофона «Весна».

Возле радиолы, которую запрещали трогать мокрыми руками.

Её невозможно было перевести обратно на английский.

Потому что она уже перестала быть английским словом.

Она получила советское гражданство.

.

Если вдуматься, вся человеческая культура устроена именно так.

Мы читаем одну и ту же книгу — и каждый читает свою.

Мы смотрим один и тот же фильм — и каждый выходит из кинотеатра с собственной версией увиденного.

Мы слушаем одного и того же человека — и слышим разные слова, даже если запись разговора потом докажет обратное.

Мы вспоминаем собственную жизнь — и всякий раз незаметно её переписываем.

Память вообще не хранит оригиналов.

Она хранит реконструкции.

Каждое воспоминание — не извлечение документа из архива.

Это новое издание старой книги.
Исправленное.
Дополненное.
Иногда — невольно сфальсифицированное.
.

Именно здесь начинается история любого творческого заимствования.

Мы привыкли смотреть на неё глазами юриста.

Кто у кого украл.

Кто кому должен.

Кто первым сыграл этот рифф.

Но сознание живёт по другим законам.

Композитор редко заимствует чужую мелодию.

Он заимствует собственную память о чужой мелодии.

А это далеко не одно и то же.

Память не нотариус.

Она не заверяет копии.

Она бесконечно переписывает рукопись.

Поэтому иногда автор совершенно искренне уверен, что написал собственную музыку.

И только спустя годы суд неожиданно сообщает ему неприятную новость.

Нет.

Это не ваша мелодия.

Это ваша память.

Любопытно, что самые известные процессы о музыкальных заимствованиях всегда оказывались значительно интереснее своих юридических формулировок.

Когда спорили о «My Sweet Lord» и «He's So Fine», о «Blurred Lines» и наследии Марвина Гэя, о «Stairway to Heaven» и «Taurus», речь, строго говоря, шла вовсе не о музыке.

Речь шла о памяти.

Где заканчивается влияние?

Где начинается авторство?

Можно ли считать мысль своей, если она слишком похожа на уже существующую?

Юрист отвечает языком процентов.

Философ — языком сознания.

Потому что сознание не копирует.

Оно пересобирает.
.

Но самое неприятное открытие ждёт нас совсем в другом месте.

Мы легко соглашаемся с тем, что советский слушатель однажды неправильно расслышал английскую песню.

Гораздо труднее признать, что каждый человек однажды неправильно расслышал самого себя.

Не родителей.

Не учителя.

Не любимого человека.

Себя.

Кто-то решил, что он недостаточно умён.

Кто-то — что обязан быть сильным.

Кто-то — что не заслуживает любви.

Кто-то — что рождён для великих дел.

Мы редко помним, где впервые прозвучала эта фраза.

Но после этого десятилетиями живём так, словно услышали истину.
Хотя вполне возможно, что оригинальная запись звучала совсем иначе.
В сущности, человек — это тоже собственная «шизгара».

Он проживает не столько свою жизнь, сколько однажды неправильно услышанную версию собственной жизни.

.
И вдруг становится понятно, что вопрос об оригинальности вообще поставлен неверно.
Оригиналов почти не существует.

Существуют только новые версии услышанного.

Каждое поколение слегка неправильно понимает предыдущее.

Каждый ученик немного искажает учителя.

Каждый переводчик изменяет автору.

Каждый ребёнок переписывает родителей.

Именно поэтому цивилизация движется.

Если бы мы слышали абсолютно точно, история давно превратилась бы в бесконечное эхо.

Новое рождается не из безупречного понимания.

Новое рождается из плодотворного недослышания.

.
Впрочем, именно здесь обычно появляется прокурор.

Он открывает ноты.

Сравнивает такты.

Приглашает экспертов.

И начинает искать преступление.

Но культура устроена значительно сложнее уголовного кодекса.

Цитата подмигивает.

Плагиат нервничает.

Цитата приглашает в разговор.

Плагиат боится свидетелей.

Именно поэтому сознательная отсылка почти всегда выглядит свободнее скрытого заимствования.

Она ничего не скрывает.

Она говорит читателю:

«Да, ты уже это слышал.

А теперь послушай ещё раз».

.
Мы привыкли смеяться над советской «шизгарой», считая её смешной особенностью ушедшей эпохи.

Но, возможно, именно здесь *homo sovieticus* оказался честнее всех остальных.

Он просто не скрывал механизм, которым пользуется всё человечество.

Мы никогда не слышим мир таким, какой он есть.

Мы всё время переводим его на собственный язык.

Иногда удачно.

Иногда катастрофически.

Но всегда творчески.

Поэтому настоящая противоположность плагиату — вовсе не оригинальность.

Настоящая противоположность плагиату — мёртвое повторение.

Жизнь начинается там, где появляется первое плодотворное искажение.

Там, где чужое окончательно перестаёт быть чужим.

Там, где *She's got it* впервые становится «шизгарой».
Возможно, именно так и развивается человеческая культура.
Не благодаря безошибочному пониманию.
А благодаря счастливым недоразумениям.
Шизгару давай.
Со сносками.

А гром где-то рядом громко гремя, громит...

Когда лорд Кельвин говорил о двух облачках на горизонте физики, он ещё находился в счастливом положении человека, уверенного, что горизонт существует.

Облачка были малы. Почти неприлично малы. Настолько, что о них можно было говорить с лёгкой улыбкой — как о крошечной помарке на идеально выглаженном костюме мироздания. Несовпадение скоростей, странное поведение излучения. Мелочь. Пыль на манжетах вечности.

Проблема оказалась в другом: облачка были не дефектом картины. Они были трещинами в самом способе видеть.

Потом появились люди, согласившиеся заплатить страшную цену за новое знание: отказаться от интуиции. Человечество пошло на эту сделку почти незаметно для себя. Сначала добровольно отказалось от эфира, потом от абсолютного времени, потом от причинности как уютной мебели мышления. Затем выяснилось, что частица — не частица, волна — не волна, а наблюдение меняет наблюдаемое. После чего физика, словно устыдившись содеянного, начала разговаривать на языке математики, всё менее переводимом обратно в человеческое воображение.

И это, возможно, величайшая драма современной науки: она перестала быть представимой.

Разумеется, школьные картинки ещё существуют. Цветные стрелочки. Волнистые линии. Шарики, соединённые пружинками. Популяризаторы по-прежнему рассказывают про ткань пространства-времени, натянутую как резиновая простыня. Но всё это уже напоминает детские деревянные кубики, оставленные в углу машинного зала атомной станции — трогательно, бесполезно и немного жутко.

Современная физика всё чаще производит странное ощущение битвы стиральных порошков.

Новая теория объясняет мир ещё чище прежней. Потом появляется другая — ещё чище. Затем третья — стирающая уже чище самого понятия чистоты. Предсказания становятся точнее, уравнения — мощнее, вычисления — чудовищнее. Но где-то между тысячной страницей тензоров и очередным виртуальным бозоном возникает почти неприличный вопрос: понимает ли ещё хоть кто-нибудь, о чём идёт речь — не математически, а внутренне?

Возможно, это и есть следующий этап эволюции знания: расхождение между вычислением и пониманием.

Человек исторически понимал мир телом. Рукой. Глазом. Пространственным опытом. Даже самые абстрактные философии всё равно росли из бытовой геометрии существования: вверх и вниз, тяжёлое и лёгкое, близкое и далёкое. Но теперь мы всё чаще сталкиваемся с сущностями, для которых у мозга просто нет эволюционного интерфейса.

Слепому от рождения невозможно объяснить красный цвет. Но можно дать потрогать конус. А что делать, если следующий уровень устройства мира нельзя ни увидеть, ни потрогать, ни даже представить? Если математический аппарат продолжит работать, а человеческая интуиция окончательно останется за дверью лаборатории?

И вот тут становится по-настоящему интересно.

Потому что, возможно, проблема будущего — не отсутствие новых «облачков», а отсутствие очков, способных их увидеть.

И именно здесь возникает самая неприятная мысль.

Возможно, мы впервые приближаемся не к пределу знания, а к пределу переводимости знания в человеческий опыт.

Это не одно и то же.

Наука может продолжать двигаться дальше. Более того — вполне вероятно, что она будет развиваться ещё быстрее: через искусственный интеллект, через вычислительные системы, через математические структуры, которые уже никто не сможет удерживать в голове целиком. Теории станут точнее. Предсказания — надёжнее. Технологии — ещё более пугающе эффективными.

Но именно здесь возникает вопрос, которого раньше просто не существовало.

Что вообще считать знанием, если его больше не способен удерживать человеческий разум?

Вся история науки строилась на молчаливом убеждении, что между истиной и человеком существует обратная связь. Что любую формулу — пусть через чудовищное усилие — всё же можно однажды перевести обратно в образ, метафору, внутреннюю интуицию. Даже самые абстрактные конструкции XX века в конечном счёте оставались человеческими хотя бы в своей объяснимости.

Но искусственный интеллект впервые делает необязательным само условие человеческой переводимости.

Если однажды возникнут системы, способные создавать описания мира, превосходящие человеческое понимание не по сложности вычислений, а по самой структуре мышления, — человечество столкнётся с ситуацией, которой у него ещё не было.

Не с тайной. Не с невежеством. И даже не с ошибкой.

А с работающим знанием, которое больше не обязано быть человечески представимым.

И тогда привычная связь между объяснением и пониманием начнёт распадаться.

Мир по-прежнему останется управляемым, предсказуемым и технологически покорным. Но логическая ткань происходящего может окончательно выйти за пределы внутреннего опыта человека.

И тогда возникает почти средневековая ситуация наоборот.

Раньше человек жил внутри мира, устройство которого не мог объяснить. Теперь он может оказаться окружён объяснениями, которые больше не способен переживать как мир.

И, возможно, именно это станет настоящим переломом эпохи.

Не конец науки. Не кризис физики. И даже не восстание машин.

А конец соразмерности между человеческим сознанием и структурой знания, которое это сознание породило.

Тогда лорд Кельвин, возможно, ошибся лишь в одном: облачка на горизонте будут всегда.

Но однажды у человечества может просто не оказаться глаз, способных заметить, что горизонт уже треснул.

Аристотель приехал в Копенгаген

*Трактат о четырёх состояниях человеческой правоты
и пятом элементе, обнаруженном в Тулузе*

Пролог. Таможня

Когда Аристотель приехал в Копенгаген, его задержали на таможне.

Не потому, что в чемодане обнаружили запрещённые вещества. В чемодане лежали несколько хитонов, бронзовая чернильница, рукопись «Метафизики» и закон исключённого третьего, тщательно завёрнутый в пергамент.

Проблемы возникли именно с последним.

— Что это? — спросил таможенник.

— Основание правильного мышления, — ответил Аристотель. — Всякое высказывание либо истинно, либо ложно. Третьего не дано.

Таможенник посмотрел на него с профессиональной усталостью человека, которому уже приходилось пропускать через границу немецкую диалектику, французский постструктурализм и несколько чемоданов датской экзистенциальной тревоги.

— А кот Шрёдингера?

— Какого ещё кота?

Так началась первая неделя Аристотеля в Копенгагене.

Под Копенгагеном здесь, разумеется, следует понимать не только столицу Дании, известную велосипедами, селёдкой и русалкой, которая вот уже много лет сидит у воды с видом человека, прочитавшего все философские системы и не нашедшего ни одной утешительной.

Копенгаген здесь — пароль.

Это Бор, Гейзенберг и та область интеллектуального неблагополучия, в которой наблюдение перестало быть невинным взглядом на уже готовую реальность, а вопрос «что происходит на самом деле?» неожиданно потребовал сначала уточнить, кто спрашивает, каким прибором и что именно он собирается считать ответом.

Строго говоря, речь идёт не о Копенгагенской школе философов, а о Копенгагенской интерпретации квантовой механики. Но философских последствий она произвела столько, что физикам пришлось долго объяснять философам, что они вовсе не это имели в виду.

Философы, естественно, не поверили.

I. Старый добрый мир, в котором всё либо есть, либо нет

Аристотелевская логика прекрасна.

Она устроена как хорошо управляемое государство: каждый гражданин обязан иметь документы, каждое утверждение — определённый статус, а всякое «может быть» рассматривается как временное нарушение общественного порядка.

Высказывание:

Сократ смертен
истинно.

Высказывание:

Сократ является бессмертной морской свинкой
ложно.

Между ними нет третьего положения. Сократ не может быть морской свинкой по понедельникам, философом по вторникам и неопределённым объектом по выходным.

Для огромного числа рассуждений этого вполне достаточно. Если человек утверждает, что заплатил долг, а банковская выписка свидетельствует об обратном, нам незачем вызывать Нильса Бора. Человек либо заплатил, либо нет. Квантовая механика не обязана обслуживать каждый бытовой пиздёж.

Проблема начинается там, где мы незаметно подменяем два совершенно разных вопроса.

Первый:

Истинно ли утверждение?

Второй:

Можем ли мы сейчас установить, истинно ли оно?

Это не один вопрос. Это даже не близнецы.

В лучшем случае — дальние родственники, которых по ошибке посадили рядом на свадьбе, после чего один весь вечер рассказывал о природе бытия, а другой пытался выяснить, кто оплатит ресторан.

II. Истина и справка об истине

Допустим, на спутнике Юпитера Европе существует жизнь.

Утверждение либо истинно, либо ложно независимо от нашей осведомлённости. Микробы, если они там имеются, не ждут решения научной комиссии, чтобы начать существовать. Они не проводят референдум и не говорят:

— Пока человечество не пробурило ледяную кору, воздержимся от метаболизма.

Но для нас сегодня это утверждение не является ни подтверждённым, ни опровергнутым.

Значит, необходимо различать:

1. положение вещей;
2. наше знание о положении вещей.

Истина принадлежит миру. Вердикт принадлежит наблюдателю. Мир может быть вполне определён, когда наблюдатель ещё разводит руками.

Именно здесь двузначная логика, оставаясь безупречной в отношении самого мира, начинает вести себя несколько самоуверенно в отношении человеческого знания. Она напоминает чиновника, который требует от Вселенной немедленно предоставить правильно заполненную форму.

Вселенная же известна тем, что формы заполняет неразборчиво, приложения теряет и на запросы отвечает через несколько миллиардов лет.

Человеку, однако, ждать неудобно.

У него эфир. Дедлайн. Выборы. Заседание экспертного совета. И потому он часто предпочитает не знать истину, а получить справку о её наличии.

III. Четыре печати

Разумнее снабжать человеческие высказывания не двумя, а четырьмя возможными печатями.

Не потому, что существует четыре истины.

А потому, что существует по меньшей мере четыре честных способа описать наше положение перед лицом утверждения.

Первая печать: ИСТИННО

Так отмечается утверждение, для которого существуют достаточные основания считать, что оно соответствует действительности.

Например:

Вода при нормальном атмосферном давлении замерзает приблизительно при нуле градусов Цельсия.

Конечно, философ, желающий испортить обед, немедленно спросит, что значит «вода», «нормальное», «приблизительно» и существует ли температура вне языка.

Его следует выслушать, поблагодарить и больше не приглашать.

В практическом мышлении «истинно» не означает «освящено вечностью». Оно означает: Проверено настолько хорошо, насколько этого требует рассматриваемая задача.

Истина в науке — не корона, навеки приклеенная к утверждению. Скорее это действующий паспорт, который может быть аннулирован при появлении новых обстоятельств.

Мы называем утверждение истинным не потому, что получили доступ к окончательной бухгалтерии мироздания, а потому, что оно прошло все проверки, доступные в разумных пределах, и пока не было опровергнуто.

Это не слабость истины. Это скромность наблюдателя.

Вторая печать: ЛОЖНО

Так отмечается утверждение, которое противоречит установленным фактам или не выдерживает предусмотренной проверки.

Например:

Париж является столицей Португалии.

Здесь неопределённость была бы не признаком интеллектуальной скромности, а следствием плохого школьного образования.

Однако ложность тоже следует устанавливать, а не назначать.

Утверждение не становится ложным потому, что оно неприятно, непривычно, оскорбляет авторитет или произнесено человеком с отвратительным галстуком.

История мысли заполнена теориями, которые объявлялись ложными главным образом потому, что их автор недостаточно почтительно входил в кабинет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.